

Валентина. Леоне Леони

Валентина, юная наследница графского титула и завидного состояния, становится невестой красавца графа, но сердце отдает простому бедному юноше. Она не может противиться своему чувству, однако пренебречь циничными и лживыми законами общества ей не позволяет чувство долга. Какой выбор сделает девушка и принесет ли он ей счастье? («Валентина»)

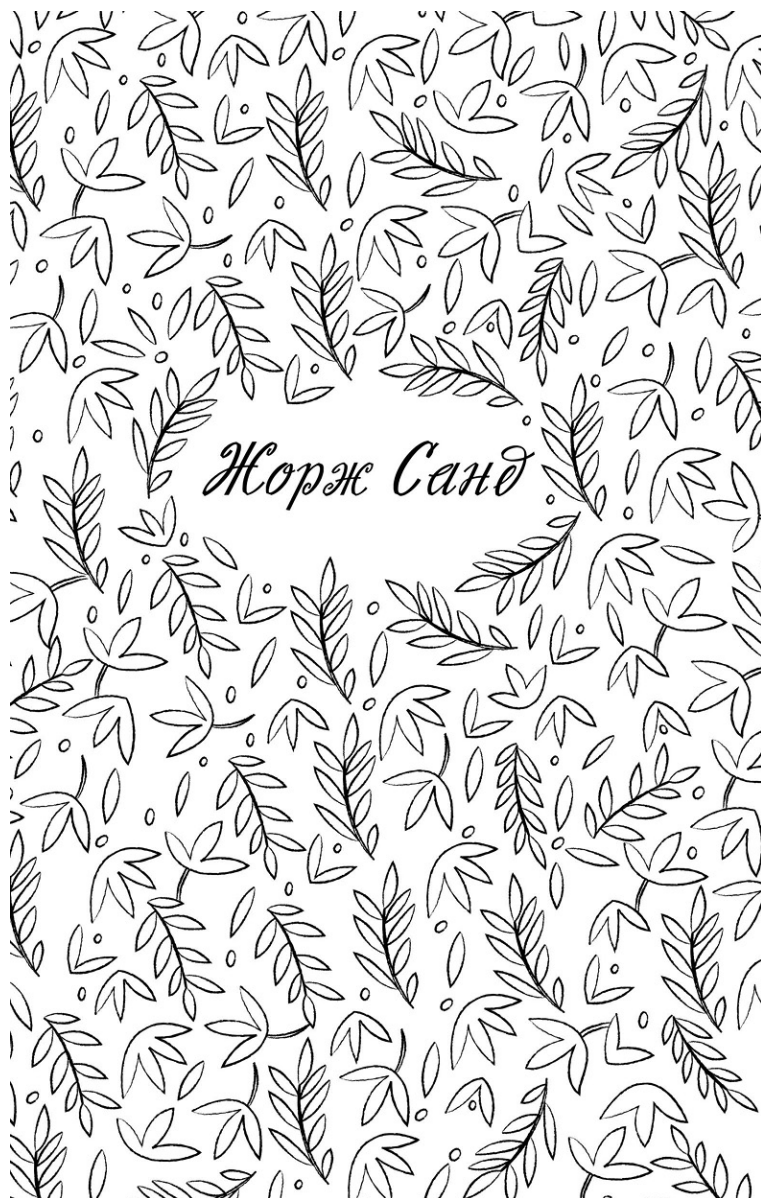
Чистая сердцем девушка с неистовой страстью полюбила недостойного человека... («Леоне Леони»)



ЖОРЖ САНД

ВАЛЕНТИНА

ЛЕОНЕ ЛЕОНИ



George Sand



Valentine

Leone Leoni



Жорж Санд



*Валентина
Леоне Леони*



ХАРЬКОВ **КЛУБ**
БЕЛГОРОД СЕМЕЙНОГО
2017  ДОСУГА



Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2017

ISBN 978-617-12-2403-2 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

«Леоне Леони» печатается по изданию: Санд Ж. Собрание сочинений : в 9 т. — Т. 2. — Л. :
Худож. литература, 1971

Перевод с французского А. Энгельке («Леоне Леони»)

Роман «Валентина» впервые опубликован Librairie Blanchard Édition J. Hetzel Librairie Marescq
et Cie, Paris, 1832

Дизайнер обложки Евгения Гайдамака

Электронная версия создана по изданию:

Народжена для світського життя аристократка Аврора Дюпен знехтувала всіма правилами, за якими жили її сучасниці, і стала славнозвісною Жорж Санд. Перші романи вона писала, щоб забезпечити себе в Парижі, куди втекла від чоловіка. Героїні її творів поки не в змозі вирватися з полону забобонів, але в їхніх душах любов перемагає страх і покору: аристократка Валентина («Валентина») віддає своє серце простому хлопцю в надії, що він зможе його втримати, а добра і горда Жюльетта («Леоне Леони») вірить, що її всепереможна любов допоможе визволити коханого з полону темних пристрастей.

Санд Ж.

С18 Валентина. Леоне Леони : романы / Жорж Санд. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2017. — 432 с.

ISBN 978-617-12-1702-7 (Украина)

ISBN 978-5-9910-3772-3 (Россия)

Рожденная для светской жизни аристократка Аврора Дюпен нарушила все правила, по которым жили ее современницы, и стала знаменитой Жорж Санд. Первые романы она писала, чтобы обеспечить себе самостоятельный доход в Париже, куда бежала от мужа. Героини ее произведений пока не в силах вырваться из плена предрассудков, но в их душах любовь побеждает страх и смирение: аристократка Валентина («Валентина») отдает свое сердце простому юноше в надежде, что он сумеет его удержать, а добрая и гордая Жюльетта («Леоне Леони») верит, что ее всепобеждающая любовь поможет освободить возлюбленного из плена темных страстей.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)

- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2017
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2017
- © ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2017

Валентина

Предисловие автора

«Валентина» — мой второй роман, он опубликован после «Индианы», которая имела неожиданный успех. В 1832 году я вернулся в Берри, где большим удовольствием для меня стало описание природы, знакомой мне с детства. Еще в ту пору я чувствовал потребность описывать ее, но в силу странных закономерностей, свойственных глубинным движениям души, как раз то, что просится на бумагу, страшнее всего представить на суд читателя — и в плане нравственном, и как плод интеллектуальных усилий. Ничем не выдающийся уголок Берри, мало кому известная Черная долина, этот не поражающий воображение пейзаж, тем не менее дорог моему сердцу. Здесь освятились мои первые, ставшие неотступными, мечтания. Минуло двадцать два года с тех пор, как я жил под этими искалеченными деревьями, у этих ухабистых дорог, среди этого привольно разросшегося кустарника, вблизи ручейков, по берегам которых не страшатся бродить лишь дети да стада животных. Все это очаровывало только меня одного, так стоило ли открывать его взорам равнодушных? К чему срывать покров таинственности с этого неприметного края, где нет живописных, покоряющих раздольем ландшафтов, где не случилось великих исторических событий, которые могли бы привлечь сюда если не исследователей, то хотя бы любопытных? В каком-то смысле Черная долина — это я сам; так обрамление моей жизни несколько не похоже на великолепное убранство и не создано для того, чтобы пленять взоры людей. Знай я, что мои произведения найдут такой отклик, думаю, я бережно, как святыню, хранил бы этот край, который до меня, быть может, никогда не привлекал ни помыслов художника, ни мечтаний поэта. Но я не знал и даже не думал об этом. Я не мог не писать, и я писал. Я поддался тайным чарам, которыми был напоен родной воздух, обвевавший меня чуть не с колыбели. Описательная часть моего романа понравилась. Фабула же вызвала весьма резкую критику, в основном относительно пресловутой антимаатримониальной доктрины, которую я, по всеобщему утверждению, начал

проповедовать в «Индиане». И в первом, и во втором романе я показывал, какие опасности несут опрометчиво заключаемые браки. Критики вообще считают, что я, может и невольно, проповедую учение Сен-Симона¹. Однако я лишь начал задумываться над причинами социальных недугов. Я был слишком молод и умел только лишь видеть и запечатлевать факты. Возможно, этим бы я и ограничился, учитывая мою природную леность, если бы не любовь к внешнему миру, которая одновременно и счастье, и беда людей искусства. Однако же именно критика, пусть и чересчур прямолинейная, побудила меня задуматься и глубже вникнуть в первопричины явлений, меж тем как до сих пор я видел лишь их последствия. Но меня с таким ядовитым сарказмом осуждали за то, что я корчу из себя вольнодумца и философа, что в один прекрасный день я спросил себя: «А уж не предаться ли мне и в самом деле философии?»

Жорж Санд. Париж, 27 марта 1852 г.

¹ Сен-Симон Анри-Клод (1760—1825) — французский философ, один из основоположников утопического социализма.

Часть первая

На юго-востоке Берри есть места — всего несколько лье в окружности и ни с чем не сравнимого очарования. Их пересекает тракт Париж — Клермон, земли вдоль которого заселены, и вряд ли путешественник может заподозрить, что по соседству расположены красивейшие ландшафты. Но если путник, жаждущий тишины и сени, свернет на одну из многочисленных тропок, отходящих от тракта и прихотливо вьющихся среди высоких холмов, то уже через несколько шагов он обнаружит прохладу и мирный пейзаж, светло-зеленые луга, меланхоличные ручейки, купы ольхи и ясеня, словом — пленительную девственную природу пасторалей. И вряд ли ему удастся на протяжении многих лье увидеть каменный дом, крытый шифером. Разве что тоненькая струйка голубоватого дымка, дрожа и расплываясь в воздухе, поднимется над зелеными кронами, извещая о близости соломенной кровли. А если позади пригорка, густо поросшего орешником, он заметит шпиль церквушки, то через несколько шагов взору его откроется деревянная колоколенка с изъеденной мхом черепицей, десяток далеко отстоящих друг от друга домиков, окруженных плодовыми садами и конопляниками, ручей, через который переброшены три бревна вместо моста, кладбище — всего один квадратный арпан² земли, обнесенный живой изгородью, четыре вяза, посаженные в шахматном порядке, развалины башни. Словом, он обнаружит то, что в здешнем краю именуют селением.

Ничем не нарушаем покой этих глухих деревенок. Сюда еще не проникли ни роскошь, ни искусства, ни ученая страсть к исканиям, ни сторукое чудище, именуемое промышленностью. Революции прошли здесь почти незамеченными, а последняя война, малоприметные следы которой хранит здешняя земля, была войной гугенотов с католиками. Впрочем, воспоминания о ней поблекли, выветрились из памяти людской, и на ваши расспросы местные жители ответят, что происходило все это по меньшей мере две тысячи лет назад. Главная добродетель сего племени хлебопашцев — полнейшее равнодушие ко всяким древностям. Смело обойдите этот край вдоль и поперек,

молитесь его святым, пейте воду из его колодцев, нисколько не опасаясь выслушать неизбежные рассказы о феодальных временах или, на худой конец, легенды о местных чудотворцах. Степенный и замкнутый нрав крестьянина — одно из главных очарований этого края. Ничему он не удивляется, ничто его не привлекает. Он даже головы не повернет, когда вы вдруг возникнете перед ним на тропке, и, если вы спросите у него дорогу в город или на ферму, он вместо ответа хитро улыбнется, как бы говоря, что такими незатейливыми шуточками его не проведешь. Беррийский крестьянин не может поверить, что человек идет куда-то и сам не знает толком куда. Разве что его пес соблаговолит побрехать вам вслед, детишки попрячутся за изгородь, лишь бы не стать мишенью ваших взглядов или ваших расспросов, а самый крохотный, не поспевший за скрывающимися стремглав братьями, непременно шлепнется от страха в канаву и завопит во все горло. Но самым невозмутимым действующим лицом будет огромный белый вол, неизменный старейшина всех пастбищ: он оценивающе уставится на вас из зарослей, а за ним замрут его собратья быки, потревоженные вашим вторжением, не такие степенные и настроенные поэтому менее благожелательно.

За исключением этой первой прохладной встречи, к чужеземцу местный хлебопашец в общем добр и гостеприимен, как и здешние мирные рощицы, поля и благоуханные луга.

Местность, лежащая меж двух небольших речушек, примечательна густой растительностью мрачной окраски, за что и дано ей название Черная долина. Все ее немногочисленное население проживает в разбросанных по долине хижинах и на нескольких доходных фермах. Наиболее крупная из них носит название Гранжнев, но и здесь все очень скромно и не выделяется на фоне столь же неприхотливого пейзажа. Ведет к ней кленовая аллея, и рядом с деревенскими хижинами протекает Эндр, который здесь не шире простого ручейка и тихо вьется среди камышей и желтых диких ирисов.

Первое мая у жителей Черной долины считается праздничным днем, и в таких случаях гуляние неизбежно. В дальнем конце долины, примерно в двух лье от центральной ее части, где и находится Гранжнев, устраивается деревенское гуляние, на которое, как положено, устремляется вся округа, начиная с супрефекта

департамента и кончая красоткой швеей, еще с вечера наплоившей жабо его превосходительству; там можно увидеть и благородную владелицу замка, и последнего овчара (местное словечко!), чья коза да барашек живут за счет господских изгородей. Все это ест на лужайке, танцует на лужайке, с большим или меньшим аппетитом, с большим или меньшим пылом; все это сходится сюда, чтобы показать свою коляску или своего осла, кто в рогатом чепчике, кто в шляпке из итальянской соломки, кто в деревянных сабо, кто в туфельках из турецкого атласа, кто в шелковом платье, а кто и в юбке из холстины. Это счастливый день для местных красавиц, день нелицеприятного суда, оценки женской красоты, когда при безжалостном свете яркого солнца довольно сомнительным салонным прелестям приходится выдерживать нелегкое состязание со свежестью, здоровьем, сияющей молодостью сельских девиц. Ареопаг состоит из судей мужского пола различного положения и ранга, прения сторон происходят под звуки скрипки, в облаках пыли, под перекрестным огнем взглядов. Собравшиеся становятся свидетелями многих заслуженных триумфов, спрятанных обид, разрешения затянувшихся тяжб, и все это не лишено жеманства. День сельского праздника, первое мая, здесь, как и по всей Франции, — великий повод для тайного соперничества между дамами из соседнего городка и принарядившимися поселянками из Черной долины.

В этот день Гранжнев с самого раннего утра превратился в грозный арсенал наивных обольщений. В просторной низкой комнате, куда свет проникал в окна с частым переплетом, где стены были оклеены обоями ярких тонов, что никак не вязалось с почерневшими от копоти балками потолка, с массивными дубовыми дверями и неуклюжим ларем, совершалось некое действие. В этом скромно обставленном помещении, где довольно изящная современная мебель лишь подчеркивала классический деревенский стиль, господствовавший здесь со дня основания фермы, вертелась перед зеркалом в золоченой раме хорошенькая шестнадцатилетняя девушка, в последний раз поправляя свой скорее богатый, чем изящный туалет, и, казалось, даже тусклое зеркальное стекло нарочито клонится вперед, чтобы полюбоваться такой красотой. Но Атенаис, единственная наследница славного фермера, была так юна, так румяна, так радовала глаз своей

прелестью, что казалась грациозной и естественной даже в этом чересчур пышном наряде. Пока она в десятый раз оправляла складки своего тюлевого платья, ее мать, присев перед дверью и засучив по локоть рукава, замешивала в бадье отруби с водой, а вокруг в благоговейном ожидании часа кормежки выстроилась рядами большая компания уток. Живой и игривый солнечный луч, проскользнув в открытую дверь, упал на разряженную румяную прелестную девицу, ничуть не похожую на свою дородную загорелую матушку, одетую в платье из грубой шерстяной ткани.

Из дальнего угла комнаты за Атенаис молча наблюдал юноша в черном костюме, небрежно развалившийся на кушетке. Но лицо его отнюдь не выражало той по-детски несдерживаемой радости, которая сквозила в каждом движении девушки. Время от времени еле заметная насмешливая и снисходительная улыбка трогала его тонкие нервные губы.

Господин Лери, или просто дядюшка Лери, как обычно и по сей день величали его крестьяне, кому он долгое время был ровней и с кем приятельствовал, теперь мирно сидел в сторонке, грея обутые в белые чулки ноги у очага, где, по деревенскому обычаю, в любое время года жгли хворост. Этот почтенный, еще вполне бодрый отец семейства щеголял в полосатых штанах, жилете в цветочек, длинном сюртуке. Волосы его были заплетены в косичку — отголосок стародавнего кокетства, который постепенно исчезает из употребления по всей Франции. Но Берри меньше прочих провинций пострадала от покушений цивилизации, и даже в наши дни верные косичке беррийцы, особенно из сословия землепашцев — полубуржуа-полудеревенщина, — не признают иной прически. В дни их юности косичка была попыткой приобщиться к аристократическим замашкам, и ныне они сочли бы себя униженными, лишись этой социальной привилегии. Дядюшка Лери стойко защищал свою косичку от атак насмешницы дочери и, будучи нежнейшим из отцов, выполнял любые капризы Атенаис, отказывая ей только в этом.

— Да ну же, матушка, — сказала Атенаис, поправляя золотую пряжку муарового пояса, — когда же ты кончишь кормить своих уток? Ведь ты еще не одета. Так мы никогда не выберемся.

— Терпение, дочка, терпение, — ответила тетушка Лери, раздававшая с похвальным прилежанием корм птице. — Пока будут запрягать Любимчика, я сто раз успею одеться. Да не столько же мне возиться, как тебе, дочка! Я, слава те господи, не молоденькая, да и в молодые годы не было у меня ни времени, ни денег принарядиться. Я по два часа перед зеркалом не вертелась!

— Что ж, вы меня упрекать решили? — надувшись, проговорила Атенаис.

— Нет, дочка, и не думаю, — возразила старуха. — Веселись, наряжайся, дитя мое, живем мы в достатке, пользуйся плодами родительских трудов. Нам, старикам, богатство уже ни к чему... А главное, когда привыкнешь к бедности, трудно отвыкать. За свои денежки я могла бы барыней сидеть, да нет, не выходит: все в доме должна своими собственными руками переделать... Но ты, дочка, веди себя как знатная дама, не зря мы тебе дали подходящее воспитание — такова была воля твоего батюшки. Тебе батрак неровня, и твой муж небось будет рад-радешенек, что возьмет такую белоручку.

Вычищая бадью, тетушка Лери продолжала разглагольствовать не так убедительно, как пылко, и под конец улыбнулась юноше, вернее, изобразила улыбку. Тот сделал вид, что ничего не замечает, а дядюшка Лери, созерцавший пряжки своих полуботинок в состоянии блаженного бездумия, столь милого сердцу отдыхающего крестьянина, поднял слипающиеся глаза к своему будущему зятю, как бы желая порадоваться вместе с ним. Но будущий зять, стремясь уклониться от этой безмолвной учтивости, поднялся, прошел в другой конец комнаты и обратился к мадам Лери:

— Не пора ли запрягать лошадь?

— Иди, сынок, иди, пожалуй. Я вас не задержу, — ответила сладкоречивая старушка.

Племянник уже подошел к двери, как вдруг на пороге показалось новое, пятое действующее лицо, чей внешний облик и костюм резко отличались от внешности и нарядов обитателей фермы.

² Арпан — старинная французская единица измерения длины, равная 180 парижским футам, то есть примерно 58,52 м.

То была невысокая худенькая женщина, и на первый взгляд ей можно было дать лет двадцать пять. Однако тот, кто пригляделся бы к ней внимательнее, дал бы ей все тридцать, если не больше. Ее тонкая, туго стянутая талия была по-девичьи гибкой, но миловидное лицо благородных очертаний несло печать горя, которое старит сильнее, нежели годы. Небрежный наряд, гладкая прическа и отрешенность свидетельствовали о том, что она не собирается на праздник. Но в ее крохотных туфельках, в ее изящном и скромном сером платье, даже в белизне шеи, в размеренной, легкой походке чувствовалось больше аристократизма, чем во всех драгоценностях Атенаис. И тем не менее эту особу, внушавшую невольное уважение, при появлении которой все присутствующие оставили свои дела, обитатели фермы называли без церемоний мадемуазель Луиза.

Она ласково пожала руку тетушке Лери, поцеловала в лоб Атенаис и дружески улыбнулась юноше.

— Долгой ли, милая барышня, была ваша прогулка этим утром? — спросил дядюшка Лери.

— Нет, вы только угадайте, куда я осмелилась дойти! — отозвалась мадемуазель Луиза и, не чинясь, присела рядом со стариком.

— Неужели до замка? — быстро спросил племянник.

— До самого замка, Бенедикт, — подтвердила Луиза.

— Какая неосторожность! — воскликнула Атенаис и, перестав взбивать букли, с любопытством подошла к говорившей.

— Почему же, — возразила Луиза, — ведь вы сами говорили, что всех прежних слуг рассчитали, кроме старой кормилицы. А встретить я ее, она наверняка не выдала бы меня.

— Но ведь вы могли встретиться с самой мадам...

— Это в шесть-то часов утра? Да мадам раньше полудня не встает.

— Значит, вы поднялись до света? — спросил Бенедикт. — То-то мне показалось, будто я слышал, как открылась садовая калитка.

— Но мадемуазель всегда встает ранехонько, она у нас хлопотунья. А если бы она вам встретила?

— Ах, как бы я этого хотела! — воскликнула Луиза. — Но я все равно не буду знать покоя, пока не увижу ее, пока не услышу ее голоса... Вы ведь ее знаете, Атенаис, скажите же мне — хороша ли она, добра ли, похожа ли на своего отца?..

— Она куда больше похожа на кое-кого другого, — ответила Атенаис, приглядываясь к Луизе, — а значит, и добрая, и красивая.

Лицо Бенедикта просветлело, и он с благодарностью взглянул на свою невесту.

— Послушайте меня, — продолжала Атенаис, обращаясь к Луизе, — если вам так уж хочется видеть мадемуазель Валентину, пойдемте с нами на праздник. Мы вас отведем к нашей кузине Симоне — это прямо на площади, и оттуда вы увидите дам из замка. Мадемуазель Валентина заверила меня, что они непременно будут.

— Но, милая моя Атенаис, это невозможно! — возразила Луиза. — Стоит мне сойти с двуколки, и все меня сразу узнают или догадаются, что это я. Впрочем, из всей семьи я хочу видеть лишь ее одну, а присутствие остальных только испортит мне настроение. Но хватит говорить о моих планах, давайте лучше поговорим о ваших, Атенаис; я вижу, вы намерены сразить всю округу своей свежестью и красотой!

Юная фермерша вспыхнула от удовольствия, бросилась на шею Луизы, и в этом порыве чувствовалась простодушная радость оттого, что ею любят.

— Сейчас пойду принесу шляпку, — сказала она. — Вы мне поможете ее надеть, хорошо?

И она быстро взбежала по деревянной лестнице на верхний этаж, где была ее спальня.

Тетушка Лери тем временем вышла в соседнюю комнату, чтобы переодеться, а ее супруг, взяв вилы, пошел на скотный двор — дать скотнику работу на день.

Оставшись наедине с Луизой, Бенедикт подошел к ней и произнес вполголоса:

— Вы тоже портите Атенаис. Ведь вы единственная, кто мог бы делать ей хоть изредка замечания, но вы не считаете нужным их делать...

— В чем же можно упрекнуть это бедное дитя? — удивленно спросила Луиза. — На вас не угодишь, Бенедикт.

— Все мне это говорят, в том числе и вы, мадемуазель, но вы могли бы понять, что нрав и нелепые причуды этой юной особы причиняют мне немало мук!

— Нелепые? — повторила Луиза. — Разве вы не влюблены в нее?

Бенедикт не ответил; он замолк, но после недолгого колебания заговорил снова:

— Согласитесь же, что сегодняшней ее туалет чересчур вычурный. Отправиться на сельский праздник в бальном платье, плясать на жаре, в пыли в шелковых туфельках, в кашемире и с перьями на шляпке! Я уже не говорю о совершенно неуместных в данном случае драгоценностях. На мой взгляд, это совсем дурной вкус. Девушка в ее годы должна превыше всего ценить простоту и уметь украсить себя каким-нибудь пустячком.

— Разве Атенаис виновата, что получила такое воспитание? Обращать внимание на подобные мелочи! Постарайтесь-ка понравиться ей, сумеете завладеть ее умом и сердцем. И тогда, можете не сомневаться, ваши желания станут для нее законом. Но вы постоянно оскорбляете ее, противоречите ей, ей — всеобщей любимице, ей — королеве в доме! Вспомните-ка, какое у нее доброе, чувствительное сердце...

— Сердце, сердце! Разумеется, у нее доброе сердце, но зато какой ограниченный ум! Доброта дана ей природой, доброта эта, если хотите, растительного происхождения. Так овощи, растут ли они хорошо или совсем не растут, сами не знают причины того. А до чего же мне неприятно ее кокетство! Придется вести ее под ручку, прогуливаться с ней взад и вперед перед всеми собравшимися на празднике, выслушивать дурацкие комплименты одних и столь же дурацкие насмешки других! Какая тоска! Как бы мне хотелось, чтобы мы уже вернулись с праздника!

— Что за поразительный характер! Бенедикт, я вас просто не понимаю. Любой другой на вашем месте гордился бы тем, что может показаться на людях с самой красивой девушкой в округе, с самой богатой невестой из местных, гордился бы тем, что возбуждает зависть двух десятков соперников, оставшихся с носом, что имеет право назвать ее своей нареченной. А вы, вы только критикуете ее мелкие недостатки, свойственные всем юным девицам такого происхождения,

несмотря на полученное воспитание. Вы вменяете в вину Атенаис то, что она поддерживает тщеславные устремления родителей, на самом деле совершенно безобидные, и уж кому-кому, но не вам выказывать свое недовольство!

— Знаю, знаю, — живо отозвался юноша, — знаю, что вы мне скажете. Они не по обязанности и не принуждению дали мне все. Приютили меня, их племянника, сына такого же крестьянина, как они сами, но бедняка; усыновили меня, сироту неимущего, и, вместо того чтобы сделать из меня пахаря, к чему, казалось бы, я предназначен самым общественным устройством, — отправили на свои средства в Париж, дали мне возможность учиться, превратили в горожанина, в студента, в краснобаю и, сверх всего, еще предназначили мне в жены свою дочь с богатым приданым, гордячку и красавицу. Они берегут ее для меня, предлагают в невесты! О, без сомнения, они очень меня полюбили, мои родичи, это люди простые и щедрые! Но любовь слепа, и все то добро, которое они желали мне сделать, обратилось во зло... Будь проклято это вечное стремление метить выше, чем способен попасть!

Бенедикт в сердцах топнул ногой. Луиза посмотрела на него печально и строго.

— То ли вы говорили вчера, возвращаясь с охоты, благородному дворянину, человеку невежественному и ограниченному, который отрицал блага воспитания и желал бы воспрепятствовать продвижению низших слоев общества? Сколько разительных доводов вы нашли в защиту распространения света и свободы для всех, желающих расти и достичь чего-то! Меня удивляет и огорчает, Бенедикт, что ум ваш переменчив, нестойк, капризен, что вы стремитесь все проанализировать и обесценить. Я боюсь за вас, боюсь, как бы хорошие семена не стали плевелами, боюсь, как бы вы не поставили себя значительно ниже или значительно выше полученного вами воспитания, а и то и другое — немалая беда.

— Луиза, Луиза! — прерывающимся голосом произнес Бенедикт, схватив руку молодой женщины.

Он так пристально смотрел на нее увлажнившимися глазами, что Луиза покраснела и недовольно потупилась. Бенедикт выпустил ее

руку и, хмурясь, нервно зашагал по комнате, потом подошел к Луизе, стараясь подавить волнение.

— Зато вы чересчур снисходительны, — заговорил он, — вы прожили на свете больше, чем я, но мне представляется, что вы моложе меня. Вы много пережили, и чувства ваши благородны и великодушны, но вы не научились читать в чужой душе, вы даже не подозреваете, какой она бывает подчас мелкой и уродливой, вы не придаете значения несовершенствам ближнего, возможно, просто их не видите! Ах, мадемуазель, мадемуазель! Слишком вы снисходительны, и слишком вы опасный наставник!..

— Вот уж странные упреки! — возразила Луиза с наигранной веселостью. — Но я ведь никого не пытаюсь воспитывать. Не твердила ли я вам десятки раз, что я столь же мало способна направлять других, как и самое себя? И это несмотря на то, что у меня жизненного опыта предостаточно.

Две слезинки скатились по щекам Луизы. Воцарилось молчание. Бенедикт подошел к молодой женщине и встал перед ней, взволнованный и трепещущий. Скрыв мимолетную грусть, Луиза заговорила:

— Вы правы, слишком долго я была поглощена собой и не научилась проникать в глубины чужой души. Целые годы я отдала страданиям и неудачно распорядилась собственной жизнью.

Тут только Луиза заметила, что Бенедикт плачет. Испугавшись того, что юноша не справится со своими чувствами, она указала рукой на двор, где дядюшка Лери собственноручно закладывал в бричку здорового пуатевенского коня, и жестом послала Бенедикта ему на помощь, но юноша не понял ее.

— Луиза! — пылко произнес он. Потом снова повторил ее имя, чуть понизив голос. — Какое славное имя, — продолжал он, — какое простое, нежное, и его носите вы, а моя кузина, самой природой созданная для того, чтобы доить коров и пасти овец, зовется Атенаис! Есть у меня еще одна двоюродная сестрица, так той дали при крещении имя Зораида, а своего малыша она нарекла Адемаром! Люди благородного происхождения правы, высмеивая наши причуды: они действительно невыносимы, разве не так? Взгляните-ка, вот прялка моей почтенной тетушки. Кто же наматывает на нее шерсть, кто в

отсутствие тетушки будет терпеливо вращать ее? Уж конечно не Атенаис! Она сочла бы для себя чуть ли не унижением даже прикоснуться к веретену; уметь делать что-то полезное в ее глазах почти что позор, ибо это может принизить ее, вернуть в то состояние, из какого она вышла. Нет, нет, она умеет, конечно, вышивать, играть на гитаре, рисовать цветы, танцевать, а вот вы, мадемуазель, вы умеете прясть, хотя и родились в роскоши, вы кротки, вы скромны, трудолюбивы... Слышите шаги? Сюда идет Атенаис. Не сомневаюсь, что, любуясь на себя в зеркале, она забыла обо всем на свете.

— Бенедикт! Идите же за шляпой! — крикнула с лестницы Атенаис.

— Идите же, — вполголоса проговорила Луиза, видя, что юноша даже не тронулся с места.

— Будь проклят этот праздник! — ответил он ей в тон. — Ладно, я поеду, но, высадив свою прелестную кузину на полянке, я скажу, что вывихнул ногу, и постараюсь вернуться на ферму... Вы будете здесь, мадемуазель Луиза?

— Нет, не буду, — сухо ответила она.

Бенедикт покраснел от досады и направился к двери. В эту минуту на пороге показалась тетушка Лери, одетая менее пышно, чем дочка, но, пожалуй, еще более несуразно. Атлас и кружева невыгодно подчеркивали медный оттенок ее кожи, опаленной солнцем, резкие черты и деревенские повадки. Добрых пятнадцать минут Атенаис сердито устраивалась в двуколке, упрекала мать, что та слишком широко расселась и помяла ей оборки, и в душе сокрушалась, что родители еще не настолько потеряли голову, чтобы купить коляску.

Дядюшка Лери положил шляпу себе на колени, опасаясь, как бы при дорожных толчках она не слетела ненароком с головы. Бенедикт взобрался на козлы и, взяв вожжи, осмелился в последний раз посмотреть на Луизу, но, встретив ее ответный взгляд, холодный и суровый, опустил глаза, закусил губу и злобно хлестнул лошадь. Любимчик сразу пустился галопом по дорожным ухабам, отчего двуколка отчаянно запрыгала по колеям, угрожая дамским шляпкам и усиливая досаду Атенаис.

Но уже через два десятка шагов лошадка, не созданная для скачки, умерила ход, гневная вспышка Бенедикта сменилась стыдом и раскаянием, а дядюшка Лери тем временем погрузился в глубокий сон.

Теперь они ехали по узенькой, поросшей травкой дорожке, именуемой на местном наречии стежкой, по дорожке столь узкой, что даже двуколка цеплялась боками за ветви росших по обочинам деревьев, и Атенаис ухитрилась нарвать большой букет боярышника, просунув ручку в белой перчатке сквозь боковое окошко их экипажа. Нет в человеческом языке таких слов, чтобы выразить всю свежесть и прелесть этих извилистых стежек, капризно вьющихся под сплошным покровом листвы, где с каждым поворотом перед путником открывается новая, еще более таинственная глубь, более заманчивый и укромный уголок. Когда на лугах каждый стебель высокой, стоящей стеной травы опален полуденным зноем, а над лугами повисает неумолчное жужжание насекомых и перепел, укrywшийся в колее, призывает в любовном томлении подружку, — невольно кажется, будто прохлада и покой возможны только лишь на этих стежках. Можете шагать по ним час, другой — и не услышать иного звука, кроме шума крыльев дрозда, испугнутого вашим появлением, или неспешных прыжков крохотной лягушки, зеленой и блестящей, как изумруд, за секунду до этого мирно дремавшей в люльке, сплетенной из травинок. Даже придорожная канава таит в себе целый мир живых существ, заросли разнообразных растений; ее прозрачные воды неслышно бегут по глинистому ложу, делающему их еще прозрачнее, и рассеянно ласкают растущие по берегам кресс, одуванчики и тростник. Здесь и фонтиналь — трава с длинными стеблями, именуемая водяными лентами, здесь и речной мох — лохматый, плакучий, беспрестанно подрагивающий в бесшумной круговерти; по песочку с лукаво-пугливым видом подпрыгивает трясогузка; ломонос и жимолость образуют тенистый свод, где соловей прячет свое гнездышко. По весне здесь все цветет, источая ароматы; осенью лиловые ягоды терновника плотно сидят на ветках, которые в апреле

первыми оденутся в пышный белый наряд; красные ягоды, до которых так охочи певчие дрозды, приходят на смену цветам жимолости, а на кустах ежевики, рядом с клочками шерсти, оставленной проходившей мимо отарой, темнеют крохотные, приятные на вкус дикие ягоды.

Отпустив поводья, отдавшись на волю смирному рысаку, Бенедикт впал в глубокую задумчивость. Странный нрав был у этого юноши; поскольку невозможно было сравнить его с подобными ему молодыми людьми, окружающие не могли оценить его нрав и способности. Большинство презирало его как человека, не годного для полезного и серьезного дела. Если посторонние не выказывали юноше своего пренебрежения, то лишь потому, что вынуждены были признать за ним недюжинную физическую силу и знали, что он не прощает обид. Зато семейство Лери, люди простодушные и благожелательные, высоко ценили его за ум и ученость. Славные эти люди были слепы к недостаткам Бенедикта; в их глазах племянник страдал от избытка воображения и, будучи обременен знаниями, не мог обрести душевный покой. В двадцать два года Бенедикт еще не сумел овладеть тем, что зовется практическими навыками. Попеременно сменяемый страстью то к искусству, то к наукам, он не приобрел в Париже никакой специальности. Работал он много, но как только дело доходило до практических знаний, к науке охладевал. На том этапе, когда другие начинали пожинать плоды своих трудов, он с отвращением отходил в сторону. Любовь к учению кончалась для него там, где начиналось ремесло с его неумолимыми требованиями. Стоило ему приобщиться к сокровищам искусства и науки, и он, не испытывая эгоистического чувства, не пытался настойчиво применить их к делу ради собственной выгоды. Поскольку он не умел приносить пользу даже самому себе, каждый, видя его праздным, не раз задавался вопросом: «На что он годен?»

С малых лет Атенаис была предназначена ему в невесты — таков был наилучший ответ завистникам, обвинявшим семейство Лери в том, что, разбогатев, они лишились сердечности и зашорили свой ум. Правда и то, что их здравый смысл, крестьянский здравый смысл, обычно непогрешимо верный, значительно поблек, подавляемый достатком. Они уже не ценили, как прежде, простые добродетели и после тщетных усилий искоренить их в себе постарались сделать все,

дабы задушить их в зародыше у своих отпрысков. Но старики по-прежнему холили обоих детей, не отдавая предпочтения родной дочери, и, веря, что трудятся для счастья молодых, трудились для их гибели.

Такое воспитание принесло весьма богатые плоды — на беду Бенедикту и Атенаис. Подобно мягкому, послушному воску, Атенаис переняла в пансионе Орлеана все недостатки юных провинциалок: тщеславие, непомерное честолюбие, зависть, мелочность. Но сердечная доброта жила в ней, как священное наследие, доставшееся от матери, и никакие влияния не могли ее вытеснить. Поэтому-то смело можно было надеяться, что время и житейский опыт уберут издержки воспитания.

Более серьезный ущерб был нанесен Бенедикту. Воспитание не только не уняло его великодушных порывов — напротив, они развились сверх всякой меры, стали вызывать мучительную лихорадочную тревогу. Этот страстный характер, эта впечатлительная душа нуждались в упорядоченной системе идей, в умиротворяющих, обуздывающих принципах. Возможно, даже сельский труд и телесная усталость в какой-то мере дали бы выход избытку сил, дремавших в этой деятельной натуре. Свет цивилизации, развивший в человеке столько ценных качеств, пожалуй, в той же мере извратил их. Такова беда поколения, стоящего между теми, кто ничего не знает, и знающими чересчур много.

Лери и его супруга не догадывались, в каком опасном положении оказались молодые люди. Они не желали даже задуматься о том, чем это чревато в будущем, и, не видя иной радости, кроме как одаривать близких, кичились в простоте душевной, что обладают наилучшим средством извести горести Бенедикта: по их мнению, то были хорошая ферма, красотка наследница и приданое в двести тысяч франков наличными на первое обзаведение. Но Бенедикт был нечувствительным ко всем этим щедрым дарам родственной любви. Деньги возбуждали в нем глубочайшее презрение — так проявлялся энтузиазм молодости, склонный все преувеличивать, легко менять принципы, а переменяв их, преклонять колени перед этим вновь созданным кумиром вселенной. Бенедикт чувствовал, что им владеют какие-то честолюбивые помыслы, однако считал, что они не связаны с

деньгами, и, как обычно бывает у юношей, искал их удовлетворения в более возвышенной сфере.

Он и сам еще не знал своей главной цели, а пребывал в неясном и тягостном ожидании. Иной раз ему мерещилось, будто он познал эту цель, — живые образы завладевали его воображением. Но фантазии эти испарялись как дым, не принося с собой длительной радости и успокоения. Ныне он ощущал это ожидание как некий злой недуг, притаившийся в его груди, и ожидание терзало Бенедикта тем сильнее, чем меньше он сам понимал, чего именно ему ждать. Скука, эта страшная болезнь, какой поражено нынешнее поколение в большей степени, чем в какую-либо иную историческую эпоху, отметила судьбу Бенедикта еще в самую пору цветения; подобно черной туче, скука омрачала его будущее. Она иссушила в его душе самый бесценный дар молодости — надежду.

В Париже одиночество опостылело ему. И хотя, по мнению Бенедикта, оно было предпочтительнее общества людей, но, замкнутый в студенческой комнатухе, он ощущал, что чрезмерное одиночество становится пагубным для него — человека весьма энергичного. В конце концов оно отразилось на его здоровье, добросердечные опекуны совсем перепугались и отозвали Бенедикта из столицы. Уже через месяц яркий румянец на щеках свидетельствовал о несокрушимом здоровье юноши, однако сердце Бенедикта все сильнее сжимала тревога. Поэзия полей, сызмальства владевшая его душой, доводила почти до неистовства неосознанные желания, подтачивавшие его дух. Жизнь в родной семье, столь приятная и благотворная поначалу, чуть ли не до оскомины приедалась ему с каждым новым посещением деревни. Никак не тянуло его к Атенаис. Слишком непонятны были ей созданные его мечтами химеры, и мысль осесть здесь, жить среди сумасбродств или тривиальностей — а эти контрасты мирно уживались в семье Лери, — мысль эта стала для него непереносимой. Сердце его жаждало нежности и признательности, но чувства эти стали источником внутренней борьбы и вечных укоров совести. Он с трудом мог подавить усмешку, неумолимо жестокою усмешку при виде окружающей его мелочности, этой смеси скупости и расточительности, что делает повадки выскочек особенно нелепыми.

Супруги Лери, отъявленные деспоты, в то же время по-отечески заботливые, по воскресеньям выставляли своим работникам превосходное вино, зато в течение всей рабочей недели упрекали их за каждую каплю уксуса, подлитую в воду. Они не колеблясь приобрели для дочки прекрасное фортепьяно, мебель лимонного дерева для ее комнаты, книги в роскошных переплетах, но ворчали на Атенаис, если по ее приказанию батрак подбрасывал в очаг чересчур большую охапку хвороста. У себя дома они вели себя как люди маленькие, бедные, чтобы приучить слуг к усердию и бережливости; в обществе они горделиво пыжились и сочли бы смертельной обидой для себя малейшее сомнение в их достатке. Добрые, милосердные, но слишком податливые на лесть, они ухитрились по собственной глупости внушить ненависть соседям, впрочем, еще более глупым и тщеславным, чем сами Лери.

Вот этих-то недостатков и не мог простить им Бенедикт. Молодость куда более жестока и нетерпима к старости, чем старость к молодости. Однако сквозь мрак отчаяния, сквозь смутные и неясные порывы пробился луч надежды, озаривший жизнь юноши. Луиза, мадам или мадемуазель Луиза (ее именовали и так и эдак), три недели назад поселилась в Гранжневе. Вначале из-за разницы в возрасте их взаимоотношения были спокойными и вежливыми; кое-какие предубеждения Бенедикта против Луизы, которую он увидел впервые после двенадцати лет разлуки, скоро изгладились благодаря ее прелести и трогательной чистоте. Сходство вкусов и образования способствовали быстрому сближению, и Луиза, умудренная годами, горьким опытом и своими добродетелями, вскоре приобрела неограниченное влияние на юного друга. Но недолгой оказалась их сладостная духовная близость. Бенедикт, склонный действовать опрометчиво, умевший, как никто, обожествлять предмет своего поклонения и отравлять собственные радости крайностями, вообразил, будто влюблен в Луизу, будто именно она избранница его сердца, будто отныне он не способен жить без нее. Заблуждения эти скоро рассеялись: холодность, с какой Луиза реагировала на его робкие признания, вызывала у Бенедикта скорее досаду, нежели боль. Ослепленный обидой, он в душе обвинял Луизу в гордости и сухости. Потом, вспомнив обо всем, что пережила Луиза, он брал себя в руки и

складывал оружие, признавая, что она столь же достойна уважения, как и жалости. Раза два-три он почувствовал, что вновь в душе его просыпаются пылкие надежды, чересчур страстные для простой дружбы, но Луиза умела усмирить его порывы. Она не прибегала к доводам рассудка, который склонен заблуждаться, идти на сделки; житейский опыт научил ее остерегаться сочувствия, она не жалела Бенедикта. И хотя душа ее была чужда жестокости, она прибегала к ней, желая исцелить юношу. Волнение, проявленное Бенедиктом нынче во время их беседы, было очередной его попыткой бунта. Теперь он уже раскаивался в своем сумасбродстве и, поразмыслив, понял, что еще не пришел его час любить кого-то или что-то всеми силами души — так тревожно было на сердце.

Молчание прервала тетушка Лери, шутливо заметив дочери:

— Ты с этими цветами все перчатки замараешь. А вспомни-ка, что сказала как-то при тебе мадам: «В провинции особу низкого происхождения всегда узнаешь по рукам и ногам». Она, эта милейшая дамочка, даже не подумала, что мы можем принять ее слова на свой счет!

— А я, напротив, считаю, что она сказала это именно в наш адрес. Бедная мамаша, плохо же ты знаешь госпожу Рембо, если думаешь, что она раскаивается в том, что нанесла нам афронт.

— Афронт! — язвительно повторила тетушка Лери. — Она, видите ли, желала нам афронт нанести! Как же! Будто меня можно пронять афронтом, от кого бы он ни исходил.

— И все же придется нам сносить не одну ее дерзость, пока мы ее фермеры. Фермеры, вечные фермеры, хоть наши владения ничуть не уступают владениям графини! Папенька, пока вы не разделаетесь с этой противной фермой, я от вас не отстану. Тут все не по мне, не могу я больше этого выносить!

Дядюшка Лери покачал головой.

— Тысяча экю ежегодного дохода никому не помешают, — заметил он.

— Лучше получить на тысячу экю меньше, лишь бы быть свободным, пользоваться своим богатством, вырваться из-под власти этой злобной гордячки.

— Ба! — бросила тетушка Лери. — Да мы с ней и дел-то почти не имеем. После того злосчастливого события она наезжает сюда раз в пять-шесть лет. Да и сейчас-то приехала она на свадьбу барышни и, может, больше никогда здесь не появится. Говорят, мадемуазель Валентина получит в приданое замок и ферму. Тогда у нас будет хорошая хозяйка!

— Это верно, Валентина — добрая девушка, — подтвердила Атенаис, гордясь тем, что может в таком фамильярном тоне говорить об особе, чьему высокому положению втайне завидовала. — Она-то не гордая, она не забыла, как мы вместе играли детьми. И к тому же у нее достаточно ума, и она понимает, что единственное различие между людьми — это деньги, и что наше состояние столь же значимо, как и ее.

— Это уж по меньшей мере! — задиристо проговорила тетушка Лери. — Для этого ей достаточно было просто родиться, а мы — мы деньги заработали потом и кровью. Впрочем, упрекать ее нечего, она славная барышня и красавица к тому же! Ты ее никогда не видел, Бенедикт?

— Никогда, тетя.

— А я все-таки привязана к этому семейству, — продолжала тетушка Лери. — И отец ее был добряк! Вот это мужчина так мужчина, да и красавец каких поискать! Ей-богу, настоящий генерал, весь в золоте и в крестах, а на всех праздниках приглашал меня танцевать, словно я герцогиня какая-нибудь... Мадам, правда, не особенно-то довольна была...

— Да и я тоже, — простодушно заметил дядюшка Лери.

— Ох уж этот мне Лери! — воскликнула его супруга. — Вечно насмешит! Я ведь к тому говорю, что, кроме самой мадам, которая нос задирает, все остальные в их семье славные люди. Взять хоть бабушку — лучше женщины на всем свете не сыщешь!

— Да, она лучше их всех, — подтвердила Атенаис. — Всегда что-нибудь ласковое скажет, иначе не назовет, как «душечка моя», «красавица», «милая моя крошка».

— А это, что ни говори, приятно! — насмешливо заметил Бенедикт. — Ладно, ладно. Да еще вдобавок тысяча экю дохода с фермы — на эти деньги можно закупить груду тряпок...

— Вот видишь, этим бросаться не следует, верно, мальчик? — подхватил дядюшка Лери. — Скажи-ка ей это, сынок, она тебя послушает.

— Нет, нет, ничего я не послушаю! — воскликнула девушка. — Я от вас до тех пор не отстану, пока вы не развяжетесь с фермой. Срок аренды истекает через полгода, и не нужно возобновлять ее, слышишь!

— А что же прикажешь мне делать? — опешил старик, смущенный вкрадчивым и в то же время настойчивым тоном дочери. — Что, сидеть сложа руки? Я не ты, не могу я петь да читать, я со скуки помру.

— Но, папа, у вас много добра, значит, есть чем распоряжаться.

— Все прекрасно ладилось, а теперь чем прикажешь мне заняться? Да и где мы жить будем? Ведь ты не согласишься поселиться вместе с батраками?

— Конечно нет. Надо строиться, пусть у нас будет собственный дом, и все в нем мы сделаем иначе, чем на этой противной ферме. Вот увидите, как я все там устрою!

— Ясно, устроишь, ипустишь на это все денежки! — ответил отец. Атенаис надулась.

— Ну тогда поступайте как знаете, — проговорила она раздраженно. — Вы еще будете каяться, что не послушали меня, да поздно.

— Что вы имеете в виду? — осведомился Бенедикт.

— А то, — ответила Атенаис, — что когда мадам де Рембо узнает, кого мы приютили на ферме и держим целых три недели, она рассердится и по окончании контракта прогонит нас, да еще начнет крючкотворствовать и затеет тяжбу... Не лучше ли нам уйти достойно, с почестями, удалиться самим, не ожидая, когда нас выгонят?

Это соображение заставило призадуматься стариков Лери. Они замолчали, а Бенедикт, которого все сильнее и сильнее раздражали речи Атенаис, не колеблясь истолковал ее последнее замечание с плохой стороны.

— Другими словами, — проговорил он, — вы, кажется, упрекаете ваших родителей за то, что они приютили у себя мадам Луизу?

Атенаис вздрогнула и удивленно взглянула на Бенедикта; лицо ее выражало гнев и растерянность. Потом она побледнела и залилась слезами. Бенедикт понял все и взял ее руку.

— О, какой ужас! — воскликнула она прерывающимся от рыданий голосом. — Так переиначить мои слова, когда я люблю мадам Луизу как родную сестру!..

— Ну ладно, ладно, ты его не поняла, поцелуйтесь — и хватит плакать, — заметил папаша Лери.

Бенедикт поцеловал свою кузину, на лице которой тут же заиграл прежний яркий румянец.

— Да будет тебе, дочка, утри слезы, — сказала тетушка Лери. — Вот мы и подъезжаем. Не следует показываться на людях с красными глазами. Смотри, тебя ждут!

И впрямь, с лужайки уже доносились звуки лютни и волынок, и группа молодых людей, поджидавшая приезда девиц, устроила на дороге настоящую засаду — каждый торопился первым пригласить свою избранницу на танец.

Все эти юноши принадлежали к тем же слоям общества, что и Бенедикт, а отличала его образованность, что, впрочем, в глазах местных жителей являлось скорее недостатком, чем достоинством. Многие из них были не прочь посвататься к Атенаис.

— Лакомый кусочек! — воскликнул один из молодых людей, взобравшийся на бугорок, чтобы не пропустить появления экипажей.
— Едет мадемуазель Лери — краса Черной долины.

— Потише, потише, Симонно! Она предназначена мне, я уже целый год за ней ухаживаю. Так что у меня есть основания считать, что право первенства за мной.

Говоривший был крепкий черноглазый парень высокого роста, с загорелым лицом и широкими плечами, сын местного богача-прасола.

— Все это так, Пьер Блютти, — отозвался первый, — но при ней ее нареченный.

— Какой нареченный? — хором воскликнули остальные.

— А ее кузен Бенедикт.

— Ага, Бенедикт, этот адвокат, краснобай, ученый...

— Да, папаша Лери не поскупился, чтобы сделать из него человека.

— И он на ней женится?

— Женится.

— Ну, ведь еще не женился!

— Родители этого хотят, дочка хочет, еще бы этот малый не захотел!

— Не понимаю, как вы можете терпеть такое! — воскликнул Жорж Симонно. — Да, хорошенький же у нас будет сосед! Этот грамотей наверняка станет корчить из себя важную персону. И ему самая лучшая девушка и самое лучшее приданое? Нет уж, не допущу я этого, покарай меня Бог!

— Девчонка — та еще кокетка, а этот Верзила Бледномордый (кличка, данная местными парнями Бенедикту) и собой нехорош, и кавалер никудышный. Мы должны расстроить свадьбу! Пошли, ребята; тот счастливчик, кому повезет больше других, щедро угостит

нас в день своего бракосочетания. Но прежде всего давайте решим, как утереть нос этому Бенедикту.

С этими словами Пьер Блютти вышел на дорогу и, крепко ухватив Любимчика под уздцы, остановил двуколку, после чего поприветствовал юную фермершу и пригласил ее на танец. Бенедикту не терпелось загладить свою вину перед кузиной, кроме того, хотя он и не собирался заявлять права на Атенаис, он был не прочь подразнить своих многочисленных соперников. Поэтому он загородил спиной сиденье двуколки, скрыв от кавалеров Атенаис.

— Господа, моя кузина благодарит вас от всего сердца, — сказал он, — но, надеюсь, вы не сочтете несправедливым то, что первый контрданс по праву принадлежит мне. Она уже обещала, вы опоздали.

Не дослушав возражений, он стегнул Любимчика, и двуколка, поднимая клубы пыли, въехала на улицу поселка.

Атенаис не ждала такой удачи: и вчера, и нынче утром Бенедикт, не желавший с ней танцевать, уверял, будто вывихнул себе ногу, и даже нарочно прихрамывал. Когда же она увидела, как он шагает рядом с двуколкой с решительным видом, сердце ее запрыгало от радости — уже не говоря о том, что для самолюбия хорошенькой девицы унижительно не открыть бала со своим женихом, Атенаис по-настоящему любила Бенедикта. Она признавала его явное превосходство над собой, и, так как любовь всегда чуточку тщеславна, в душе Атенаис была польщена тем, что ее жених образованнее и воспитаннее всех ее кавалеров. Итак, когда она появилась на полянке, нельзя было не прельститься ее живостью и свежестью; даже наряд, столь сурово осужденный Бенедиктом, был очаровательным — на менее изощренный вкус. Женщины просто позеленели от зависти, а кавалеры единодушно провозгласили Атенаис царицей бала.

Однако к вечеру эта яркая звездочка несколько померкла перед другим светилом, более чистым и более лучезарным, — перед мадемуазель де Рембо. Услышав, как это имя передается из уст в уста, Бенедикт, движимый любопытством, примкнул к толпе почитателей, бросившихся вслед за ней. Желая разглядеть ее получше, он забрался на каменное подножие креста — священного места для жителей всей округи. Этот кощунственный, вернее, сумасбродный поступок привлек к нему взгляды всех, включая мадемуазель де Рембо, которая невольно

повернулась туда, куда смотрела толпа, и дала возможность Бенедикту без помех рассмотреть себя.

Она ему не понравилась. Уже давно он обрисовывал для себя идеал женщины — брюнетка, бледная, пылкая, живая, словом, нечто в испанском духе, и он отнюдь не собирался отрекаться от своих грез. Мадемуазель Валентина никак не соответствовала этому идеалу: она была блондинка, белокожая, спокойная, высокая, свежая, безукоризненно сложенная. В ней не было ни единого недостатка из тех, что притягивали болезненное воображение Бенедикта, насмотревшегося на те произведения искусства, где кисть, поэтизируя уродство, тем самым делает его более привлекательным, чем красота. Кроме того, мадемуазель де Рембо держалась с прирожденным достоинством, что скорее могло внушить уважение, нежели очаровать с первого взгляда. Все в ней напоминало придворных дам времен царствования Людовика XIV — и линия профиля, и изящный изгиб шеи, и роскошные, ослепительно белые плечи. Надо думать, потребовалось не одно поколение рыцарей, дабы создать это счастливое сочетание чистых и благородных черт и царственной осанки, которые можно видеть у лебедя, когда величественно и томно он расправляет на заре свои крылья.

Бенедикт покинул свой наблюдательный пункт у подножия креста, и тут же, не обращая внимания на бормотание местных кумушек, еще десятка два юношей бросились к этому заветному местечку, откуда всех видно и тебя все видят. Через час круговращение толпы принесло Бенедикта к дамам де Рембо. Дядюшка Лери, почтительно сняв шляпу, беседовал с хозяйками замка и, завидев племянника, схватил его за руку и представил дамам.

Валентина сидела на траве между своей матерью, графиней де Рембо, и своей бабушкой, маркизой де Рембо. Бенедикт никогда раньше не видел ни одну из этих трех дам, но он так много слышал о них на ферме, что не удивился, удостоившись холодно-высокомерного кивка одной и добродушно-фамильярного приветствия другой. Казалось, старая маркиза своими шумными излияниями стремится искупить ледяное молчание невестки. Однако в этой нарочито простонародной болтовне чувствовалась феодальная покровительственность.

— Как, это и есть Бенедикт? — воскликнула старушка. — Неужели это тот самый мальчуган, которого я видела еще на руках у его матушки? Что ж, здравствуй, мой мальчик, рада видеть тебя взрослым и таким нарядным. Ты ужасно похож на свою мать. Да, да, мы с ней много лет дружили! Тебя крестил мой бедный сын, генерал, погибший под Ватерлоо. И как раз я подарила тебе твои первые штанишки, но ты, конечно, этого не помнишь. Сколько же с тех пор прошло времени? Тебе, должно быть, сейчас лет восемнадцать?

— Мне двадцать два, мадам, — ответил Бенедикт.

— О господи, уже двадцать два! — воскликнула маркиза. — Как время-то бежит! А я думала, ты ровесник моей внучки. Ты ее не знаешь, мою внучку? Ну так убедись, что мы тоже умеем рожать славных ребятишек! Валентина, поздоровайся-ка с Бенедиктом, он племянник нашего почтенного Лери и жених твоей подружки Атенаис. Поговори с ним, внучка.

Эти последние слова можно было перевести так: «Следуй моему примеру, ты прямая наследница нашего рода, умей завоевать простые сердца, дабы спасти свою голову в годину грядущих революций, как спасалась я во время революций минувших!» Однако мадемуазель де Рембо, то ли благодаря выучке, то ли следуя обычаю, то ли из-за своего прямодушия, удалось и улыбкой, и взглядом утишить в душе Бенедикта гнев, вызванный оскорбительной приветливостью маркизы. Он устремил на девушку дерзкий и насмешливый взгляд, ибо уязвленная гордыня на один миг вытеснила диковатость и робость, свойственные его возрасту. Но прекрасное лицо выражало такую кротость, такую безмятежность, звук голоса Валентины был так чист и так упоителен, что юноша опустил глаза и вспыхнул, как красная девица.

— О, — проговорила она, — могу сказать вам положила руку на сердце, что я люблю Атенаис как родную сестру. Не откажите в любезности привести ее сюда. Я уже давно ищу ее повсюду, но безуспешно. А мне так хочется ее расцеловать.

Бенедикт склонился в глубоком поклоне и вскоре вернулся к Валентине со своей кузиной. Атенаис, дружески взяв под руку высокородную девицу де Рембо, стала прогуливаться с ней среди праздничной толпы. Хотя мадемуазель Лери старалась делать вид, что

ничего в этом особенного нет, а Валентина отлично понимала ее чувства, фермерша не могла скрыть горделивой радости, она торжествовала: ведь многие женщины из зависти старались ее опорочить.

Тем временем лютня подала сигнал к следующему танцу — к буре. На сей раз Атенаис пригласил один из тех юношей, что поджидали ее на дороге. Она попросила мадемуазель де Рембо быть ее визави.

— Пусть меня сначала пригласят, — с улыбкой возразила Валентина.

— За этим дело не станет! — с живостью воскликнула Атенаис. — Бенедикт, пригласите мадемуазель.

Бенедикт, робко вскинув глаза, молча спросил позволения Валентины. На ее милом простодушном личике он прочел согласие. Но только шагнул к ней, как в ту же секунду графиня-мать резким движением схватила дочь за локоть и произнесла достаточно громко, чтобы Бенедикт мог расслышать:

— Дочь моя, я разрешаю вам танцевать буре только с господином де Лансаком.

Тут только Бенедикт впервые заметил высокого молодого красавца, предложившего руку юной графине, и вспомнил, что де Лансак — жених Валентины.

Уже через минуту он понял причину такой реакции графини. Когда лютня перед началом буре выдавала особо звонкую трель, каждый кавалер, по обычаю, установившемуся еще с незапамятных времен, должен был поцеловать свою даму. Граф де Лансак, слишком хорошо воспитанный, чтобы позволить себе подобную вольность на людях, решил несколько видоизменить старинный беррийский обычай и почтительно поцеловал ручку Валентины.

Затем граф прошелся в танце, сделав несколько шагов вперед и назад, но тут же почувствовал, что не в силах принять капризный ритм буре, к которому не так-то легко приноровиться с первого раза. Он остановился и сказал Валентине:

— Я исполнил свой долг по желанию вашей матушки, начав с вами танец, но боюсь, что испорчу вам все удовольствие своей неловкостью. У вас уже был кавалер, разрешите передать ему мои права.

И он обернулся к Бенедикту.

— Не угодно ли вам занять мое место? — осведомился он изысканно любезным тоном. — Вы исполните эту роль куда удачнее, чем я.

Но Бенедикт, раздираемый смущением и гордостью, не решался сменить графа, ибо его лишили самого желанного права танца.

— Прошу вас, — настойчиво продолжал де Лансак, — вы будете сторицей вознаграждены за эту услугу, которую я прошу вас оказать, и, быть может, еще поблагодарите меня.

Бенедикт не смог долго ломаться, ибо ручка Валентины без всякой неприязни нашла его дрожащую руку. Графиня была вполне удовлетворена дипломатическим маневром своего будущего зятя, так ловко вышедшего из положения, но тут как раз играющий на лютне музыкант, видимо, шутник и насмешник, как и все подлинные артисты, прервал мелодию и с лукавой непосредственностью повторил зазывную трель. А это значило, что кавалер обязан поцеловать свою даму. Бенедикт побледнел и растерялся. Папаша Лери, испуганный злобным огнем, вспыхнувшим в глазах графини, бросился к лютнисту и стал умолять его играть дальше, не повторяя роковой трели. Но деревенский музыкант не желал ничего слушать, смех и одобрительные возгласы публики лишь подзадорили его, и он уперся, заявив, что будет играть дальше лишь при том условии, если все поведут себя как положено. Танцоры роптали от нетерпения. Мадам де Рембо приготовилась было увести дочь. Но господин де Лансак, человек светский и находчивый, поняв всю смехотворность этой нелепой сцены, вновь приблизился к Бенедикту и проговорил любезно, однако не без скрытой насмешки:

— Неужели, сударь, я должен передать вам право, которым я сам не посмел воспользоваться? Вы, как я вижу, хотите полностью насладиться своим триумфом!

Бенедикт коснулся дрожащими губами бархатистой щеки юной графини. На миг, на один только миг, его охватило чувство гордости, он испытал райское наслаждение, но заметил, что Валентина, хотя и вспыхнула, от души смеется над этим происшествием. Он вспомнил, что она точно так же покраснела, когда господин де Лансак поцеловал ей руку, но не рассмеялась. И Бенедикт понял, что этот граф, вежливый, находчивый, рассудительный красавец, безусловно любим,

и вел Валентину в танце без всякого удовольствия, хотя она танцевала буре на диво уверенно, непринужденно, как истая поселянка.

Однако Атенаис вносила в танец еще больше прелести и кокетства, так как присущая ей красота пленяла всех без исключения. Мужчины, не получившие должного воспитания, любят откровенное кокетство, дразнящие взгляды, поощрительные улыбки. При всей своей невинности юная фермерша умела держаться с обольстительной, манящей уверенностью. В мгновение ока ее окружили сельские поклонники и увлекли за собой, чуть ли не похитили. Некоторое время Бенедикт старался не выпускать ее из виду. Но, рассерженный тем, что она, бросив мать, присоединилась к рою молодых кокеток, вокруг которых теснились стаи воздыхателей, он попытался жестами и красноречивыми взглядами втолковать кузине, что она уж слишком поддалась своей природной резвости. Атенаис ничего не замечала или не желала замечать. Бенедикт сердито пожал плечами и удалился. В харчевне он встретил работника с дядюшкиной фермы, приехавшего сюда на серой кобылке, на которой обычно ездил сам Бенедикт. Он велел работнику доставить после праздника семейство Лери на двуколке домой, а сам, вскочив в седло, поскакал в одиночестве по дороге, ведущей в Гранжнев. В этот час сумерки уже начали сгущаться.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ